

The background is a painting of a window. On the left, a window frame is visible, looking out onto a lush garden with green foliage and a wooden fence. On the right, a window pane shows a view of a grey sky. In the foreground, a vase filled with blue and white flowers sits on a windowsill. The overall style is impressionistic with visible brushstrokes.

СЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУВИНОЙ

18+

Дачники

ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, СЕМЕЙНЫЕ ТАИНЫ,
ЛЕТНИЕ РОМАНЫ И КОМАРЫ —
В РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ • МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ • АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ •
АННА МАТВЕЕВА • СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ • АСЯ ВОЛОДИНА • ДЕНИС
ДРАГУНСКИЙ • ДАРЬЯ БЕГЛОВА • СЕРГЕЙ НОСОВ • ЕЛЕНА КОЛИНА

Сборник
Дачники. Любовь, дружба,
семейные тайны, летние
романы и комары – в рассказах
современных писателей
Серия «Москва: место встречи»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73950732
ISBN 978-5-17-186067-7

Аннотация

Любовь, дружба, семейные тайны, летние романы и комары – в рассказах современных писателей. “Книга, которую вы держите в руках, – вся посвящена даче. Как месту, как явлению, как точке отсчета и мерилу всего. Это место, где литература встречается с жизнью. Желаю вам читать её в гамаке, под старой шершавой яблоней, под стрекот косилки и детские крики, и пусть пахнет смородиновым листом, только что политыми флоксами и бессмертием. Мы всё это заслужили”. (Марина Степнова)

Содержит нецензурную лексику

Содержание

Марина Степнова	6
Алексей Варламов. Как ловить рыбу удочкой	8
Дмитрий Воденников. Третья веранда	27
Майя Кучерская. Заольшьё	41
1	42
2	46
3	52
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Дачники

Елена Шубина, Алла Шлыкова

Художественное оформление Андрей Бондаренко

В оформлении книги использована картина А. М. Герасимова “Полдень. Тёплый дождь. 1939” / УПРАВИС, 2026

Книга иллюстрирована графикой Саши Николаенко

© Варламов А. Н., Кучерская М. А., Матвеева А. А., Юзефович Л. А., Шаргунов С. А. и др.

© Николаенко А. В., иллюстрации.

© Бондаренко А. Л., художественное оформление.

© ООО “Издательство АСТ”.

* * *

*На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трёхъярусном полёте,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут берёзы и осины.
На даче спят, укрывши спину,*

Как только в раннем детстве спят.
Борис Пастернак

Марина Степнова

Позволю себе сказать крамольное – русская литература вышла не из гоголевской “Шинели”, а из русской усадьбы. Город наводит на русскую литературу трансцендентный ужас, а всё лучшее в любимых текстах (от “Бедной Лизы” до набоковской “Ады”) родилось в заброшенных беседках барских садов, на скрипучих верандах, на тропинках, заблудившихся среди полей, и на подоконнике, с которого мечтала улететь Наташа Ростова. Не было бы усадеб, не было бы и русской литературы и мир был бы печальнее во сто крат.

Когда история смахнула усадьбы со стола современности, русская литература, поразмыслив, переехала на дачу. Оказалось – к лучшему, потому что остались и сады, и цветники, и речка с пескарями, и заросший пруд, и дружелюбные собаки, и непонимающие взрослые, и сбивчивые объяснения при полной луне. Но прибавились новые герои – заборы, заборные соседи, электрички и медные тазы с клубничным вареньем. Дача вместила всё – и первую любовь, и первые драмы, и дружбы, и вражды, и долгий жизненный цикл героев, начинающийся с эмалированного дуршлага собранной бабушкой клубники и заканчивающийся посадкой той же самой клубники для собственных внуков. Путь, включающий в себя и подростковое отрицание дачи как таковой, и взрослое пропалывание грядок, и рассаду на подоконниках, и шашлыки

на выходных, и жизнь, и любовь, и смерть среди ароматной помидорной ботвы.

Дача – это всегда лето, даже когда зима. Дача – это всегда радость, даже если разрывается сердце. Дача – это всегда Россия, даже если это *dacha* Андреа Бочелли на тосканских холмах. *Dacha* не нуждается в переводе, но по-прежнему нуждается в осмыслении и читательской любви.

Книга, которую вы держите в руках, – вся посвящена даче. Как месту, как явлению, как точке отсчёта и мерилу всего. Это место, где литература встречается с жизнью и становится обыкновенным чудом. Желаю вам читать её в гамаке, под старой шершавой яблоней, под стрекот косилки и радостные детские крики, и пусть пахнет смородиновым листом, огуречными жопками, только что политыми флоксами и бессмертием.

Мы все это заслужили.

Алексей Варламов. Как ловить рыбу удочкой



В отрочестве, когда я только начал проявлять интерес к женскому полу, мне попало в одном из разукрашенных цветами девичьих песенников под портретом Софии Ротару такое изречение: “В любви как на рыбалке: не клюёт – смазывай удочки”. Эта мудрость меня рассмешила – на воде выросший, обученный рыбачить дедом, я хорошо знал, что, если не клюёт, надо прикармливать место, снасть, менять насадку, ждать, надеяться на случай, на перемену погоды, но только не отступать. Рыболовом я был удачливым и ожидал такого же везения в делах сердечных, однако, когда мне случилось впервые полюбить, судьба насмешливо разбила мой апломб.

А дело происходило на даче, в моё последнее школьное лето, и предметом моих мечтаний была спокойная, рассудительная, лениво дремлющая барышня в красном сарафане на тонких тесёмках, не скрывавших её нежные, вечно обожжённые солнцем плечи. Звали её Аней, она была меня на год моложе, но всегда казалась мне взрослее, и эта её взрослость только подхлёстывала мой интерес, дальше которого, правда, ничего и не шло.

Мы проводили с Аней все дни напролёт, ездили купаться на карьер, ходили в лес за черникой и сыроежками, а по вечерам смотрели комедии шестидесятых годов в железнодорожном вагоне-клубе. После я провожал её и засиживался на террасе под огромным, с бахромой абажуром, вокруг которого летали ночные бабочки. Аня жила на даче с ба-

бушкой, глуховатой чудесной старушкой, которая ложилась спать в половине одиннадцатого, прослушав по включённому на полную мощность радио последние известия. Уходя, Ксения Фёдоровна всякий раз внимательно смотрела на нас, качала головой, но говорить ничего не говорила.

Мы сидели в плетёных креслах на террасе и пили чай с мятой. На террасе было полным-полно ящиков с яблоками, огурцами и помидорами, кабачки, патиссоны, банки с вареньем и маринадами. Мы пробовали варенье из разных банок и решали, какое отдать Ане и её маме, а какое достанется прочим родственникам. Придавая лицу таинственное и задумчивое выражение, мы курили с важным видом наши первые сигареты, с важностью выпуская дым через вытянутые трубочкой губы и поминутно стряхивая пепел. И я был влюблён в эти тёплые ночи, в Анину бабушку, в террасу, в бесшумных бабочек, в сигаретный дым, в Аню – мне было так хорошо, что я и сам этого не понимал. Потом светало, становилось зябко, у Ани начинали слипаться глаза – я поднимался, выходил на улицу и опасливо глядел в сизую предрассветную мглу: по ночам на участках бегала сторожевая овчарка Найда. Но идти мне было совсем недалеко: до конца улицы, немного по нижней дороге – и вот я дома.

Я спал до полудня, торопливо завтракал, стараясь не замечать подчёркнутой отстранённости моего интеллигентного деда, осуждавшего меня за безделье, шёл к Ане, и начинался наш новый день с купанием, томлением на песчаном

пляже, вечерним фильмом и лёгкой ночной болтовнёй. И я думать не думал, что однажды это всё куда-то денется.

А кончилось всё по моей же глупости. В середине августа на дачу приехал мой старый приятель Артур. Он был меня тремя годами старше, и я во всём чувствовал его превосходство, во всём, кроме рыбной ловли, которой мы оба были фанатично преданы. Артур считал себя великим теоретиком по этой части, в детстве его настольной книгой была потрепанная довоенная брошюра под названием “Как ловить рыбу удочкой”, и из неё мой товарищ черпал поразительные сведения, навроде того, что леску правильно называть лесой, а закидушку донной удочкой, что рябь на поверхности водоёма улучшает клёв, а удильщик, стоящий в воде босыми ногами, поймает больше, чем сосед, ловящий в сапогах. Исходя из этого, бедняга лез в самую холодную воду, мучил червей, насаживая их как требовала книжка, радовался захлёстывающей поплавок волне, но почти всякий раз я его облавливал, что, впрочем, не мешало ему находить себя более опытным рыболовом и поучать меня, когда и как надо правильно подсекать в противоположную от погружения поплавок сторону.

Правда, не рыбачили мы с ним давно. Он с тех пор, как поступил в институт, на даче не появлялся, а я был до такой степени увлечён Аней, что даже рябь на поверхности нашего карьера не будила во мне никаких чувств. И вот теперь, обрадованный его приездом, я простодушно рассказал другу детства об Ане, которую он помнил толстой капризной дев-

чонкой. Он как-то скривился, проворчал, что лучше бы пошли на зорьке поспиннинговать судачков, у которых нынче самый жор, но я, дурак, был непреклонен, и в тот вечер мы сидели на террасе втроём. Было оживлённо, Аня, неуловимо изменившаяся и похорошевшая, прогнала скуку с его лица, Артур рассказывал про университет, тут и там мелькали манящие слова – сессия, коллоквиум, пара, зачёт, – мы слушали, раскрыв рот, а он между тем ухитрился съесть почти целиком литровую банку золотистого крыжовенного варенья. Потом он облизнулся, довольно откинулся на спинку стула, похлопал себя по намечающемуся брюшку и, плотоядно поглядев на Аню, предложил ей погадать по линиям на ладони. Аня тотчас же согласилась, и её маленькая ладошка очутилась в его руке. Он держал её, поворачивая, поглаживая и разглядывая со всех сторон, и нёс какую-то окоlesiцу про бугор Венеры, а я смотрел, не отрываясь, на Аню и подмечал в её глазах новое выражение.

Со мной Аня держалась всегда ровно, ей было легко, привычно; тут же в её взгляде появилась доверчивость, её лицо показалось мне совсем детским, и я ощутил необыкновенную нежность к её фигуре, к длинному, с капюшоном свитеру, к красным заколкам в волосах, к её кроссовкам и синим в белую полоску шерстяным носкам, и с этой нежностью я почувствовал боль. Артур вскоре ушёл, и нам обоим стало неловко, мы молчали, Аня переменялась, притихла, а я не знал, что сказать. Мне и не хотелось ни о чём говорить, а

только сидеть и смотреть на её лицо, ещё ничего не умевшее скрывать.

Когда я вышел, было уже совсем светло, и мне вдруг сделалось тревожно и неловко. Я стыдился признаться самому себе, что люблю её, полюбил, увидев это преобразившееся лицо, и был счастлив как никогда. Мне совсем не хотелось спать, и в каком-то странном возбуждении я принялся ходить по тенистым дачным улицам, названным в честь женщин-революционерок, как вдруг откуда-то сбоку на меня налетела молчаливая сильная овчарка Найда и сбила с ног могучими лапами. Я лежал на сырой траве, слышал, как дышит мохнатая псина, чувствовал её запах и даже не пробовал освободиться – с Найдой такие фокусы не проходили. Вызволил меня через полчаса сторож дядя Лёша. Он долго ворчал, бурчал, что на улице Клары Цеткин давеча покрали доски, а у Ларионовых с Люксембургской обтрясли грушу, и мне почудилось в этом дурное предзнаменование: а что бы было, если бы меня, позорно лежавшего под собакой, увидела Аня?

На следующий день, когда я по обыкновению зашёл к своей прелестнице, Ксения Фёдоровна известила меня, что Аня уехала купаться, и стала угощать яблоками по случаю Яблочного Спаса. Но мне было не до яблок, я вскочил на велосипед и помчался к карьеру, объехал его несколько раз кругом по рыхлому песку, но Ани нигде не было. Я не застал её дома и вечером, тогда я сел напротив её забора и стал ждать. Я

курил до одури, не замечая, что пепел сыплется мне прямо на телогрейку, но вот наконец в темноте мелькнул её свитер с капюшоном и светлая рубаша Артура. Они вошли в дом, и на террасе загорелась моя лампа под абажуром с длинной бахромой, созывая бабочек к чаю с вареньем. Я решил было встать и непринуждённо войти на террасу, но почувствовал, что сделать этого не могу – не могу видеть их рядом, Артура и Аню; я кружил вокруг участка, боялся, что снова налетит на меня из темноты Найда. Часа через два Артур вышел и зашагал вверх по улице, а я, пожелав ему встретить Найду, открыл калитку.

До этой минуты я ещё кое-как держал себя в руках и убеждал, что всё это ерунда, случайность, что может быть общего между бородатым студентом и робкой девочкой, но когда я увидел разочарованное при моём появлении Анино лицо, всё поплыло у меня перед глазами. Я почувствовал, что краснею, чуть ли не плачу, однако Аня ничего не замечала. Я ждал, что она хотя бы предложит мне чаю, – Аня же смотрела на меня с досадой. Я упрямо сидел на Артуровом месте, и мне хотелось вернуть по крайней мере наши прежние покойные отношения, но всё было напрасно: банки с вареньем неприступно стояли в шкафу, отсвечивая тёмно-красными, фиолетовыми и жёлтыми боками и отражая моё вытянутое лицо. Наконец Аня потеряла всякое терпение и раздражённо сказала, что хочет спать.

Это было так хлётко, что, выйдя на улицу, я поклялся

сам себе: не пойду к ней теперь ни за что до тех пор, пока она не придёт первая и не позовёт меня. Но Аня и не думала меня звать. Прошёл один вечер, другой, а Аня прекрасно обходилась без меня, не было дома и Артура, и я должен был сделать печальный вывод, что они гуляют вместе. Предатель, мерзавец, козёл вонючий – какими только словами я не крыл своего старшего друга, но не сдавался и всё выжидал, когда же станет без меня скучно, так же невыносимо тошно, как мне без неё. Пожалуй, на моём лице аршинными буквами было написано это отчаяние, и даже дед перестал меня корить и только вздыхал, глядя, как я слоняюсь по саду, высматривая каждого прохожего и набивая себе оскомину поздним сортом смородины. А занять себя мне было нечем – у нас на даче даже не было толком книг, только стояли на полке среди садоводческих справочников украшенные Сталинскими премиями издания послевоенных лет – романы Тихона Сёмушкина, Ванды Василевской, Семёна Бабаевского и Павла Вершигоры.

На третий день, прочитав половину “Кавалера Золотой Звезды”, где снова было о женщинах и о любви, я себя вконец презирал, решил, что пора мне возмужать и научиться жить без женского общества, но Анин голос, её скользкий, с поволокой взгляд, маленькие ладони и ножки в шерстяных носках – всё это мерещилось мне во сне и наяву, и от этих противоречивых чувств я полез на чердак, достал оттуда спутавшиеся снасти, наладил их и отправился на карьер

ловить рыбу донными удочками.

Наш карьер был водоёмом необычайно капризным, рыбы там водилось много, и притом самой разной, но она была закормлена и избалована многочисленными рыболовами, и требовалось изрядно поломать голову, чтобы её привадить. Ловили мы чаще всего удочками около затопленных деревьев, где держался мелкий окунь, плотва и карась, но всё это было баловство – настоящей рыбалкой на нашем карьере считалась ловля зеркального карпа на закидушки. Карп брал редко, но уж когда это случалось, могучая рыба шла с сопротивлением, делала в воздухе свечки, рвала прочнейшую леску, доводя до иступления самых стойких мужиков.

Я уезжал обычно с вечера на велосипеде, ставил несколько закидушек, разводил костёр и пялился на огонь, прислушиваясь, не звенит ли колокольчик. Так я просидел на берегу несколько ночей, меняя места, колдовал над кашей для рыбы, смешивая манку, пшёнку и геркулес, замешивая тесто на белке, добавляя туда сахар, постного масла или анисовых капель, лепил из каши хитрые рогатины, в которых был спрятан десяток крючков с отточенными жалами, но счастья мне не было и здесь. А август в тот год был тёплым, и тихие ночи с тут и там вспыхивающими огнями костров немного успокаивали мою душу, и на время мысли об Ане становились сладкими, как прежде. Я забывал об Артуре, и мне казалось, что Аня просто уехала, но очень скоро обязательно вернётся на нашу увитую диким виноградом террасу на улице Инессы

Арманд.

И вот однажды на рассвете, когда костёр догорел, небо едва забрезжило и над водой потянулся такой плотный туман, что, кажется, руку протяни – не увидишь, я услышал совсем рядом голоса:

– Тихо как...

– Нравится тебе, малыш?

– Да. И даже спать не хочется. Хорошо, что ты приехал, а то я тут так скучала.

– Да если б не ты, я бы тут трёх дней не высидел.

– Правда, Артур?

– Правда, маленький.

Она засмеялась, а потом, видно, подбежала к воде и сказала:

– Тёплая-то какая!

– Давай искупнёмся, малыш, – хрипло сказал Артур.

– У меня купальника нет, – ответила Аня упавшим голосом.

– Так кто же ночью в купальнике купается?

– А как?

– А так, маленький... – и я услышал лёгкое потрескивание синтетической рубашки.

– Вдруг тут кто-нибудь есть?

– Нет, никого нет, не бойся.

– Не надо, Артур, я сама.

Уйти, убежать отсюда! Я лежал на телогрейке, похолодев-

ший, как неделю назад под лапами Найды, растерявшийся от этого неслыханного вероломства, о котором сам и помышлять не смел, и в этот момент дёрнулся и оглушительно зазвенел колокольчик.

Я подсёк.

Ощущение было такое, что к тому концу лески кто-то привязал валун. Я стал медленно подтягивать леску на себя, по сантиметру, осторожно, как вдруг она ослабла, а потом натянулась, запела, на воде в тумане раздался удар, всплеск, и закидушку стало рвать из моих рук.

– Стой, сучара! – выругался я вполголоса, но, как оказалось, очень громко.

Рыбина снова сделала свечку, и удар был ещё сильнее, я боялся, что карп сорвался, однако он сидел и, значит, теперь уже сидел крепко сразу на нескольких крючках. Он слегка затих, ослабел, и я начал подматывать леску на себя. Увы, это была самая скверная моя закидушка, на леске в одном месте был узелок, я чувствовал её предельное натяжение – только бы она выдержала! Чувял эту слабинку и карп, он молчался, как бешеный пёс на привязи, и я был вынужден отдавать ему метр за метром.

– Дай сюда, Серёга!

Я обернулся и увидел в двух шагах от себя Артура, он стоял босыми ногами на песке, и глаза у него горели как у безумного.

– Ппащёл ты!.. – сказал я задушенно, вложив в эти слова

всю свою ненависть к растлителю, но он будто и не слышал меня.

– Упустишь ведь! Ты же не знаешь, как его тащить, – застонал он. – Ослабь, ослабь, тебе говорю! Тяни!

– Не упусти, – процедил я сквозь зубы.

– Уйдёт, ой уйдёт, сука!

– Не каркай!

Я начал подматывать леску и краем глаза заметил появившуюся из тумана Аню в тёмной куртке. Она встала у меня за спиной, и я почувствовал себя увереннее.

– Серёга! Серёня, что ты делаешь? – причитал Артур. – Дай же ты её мне! Ой, бляха-муха, ой, упустишь! Леса-то какая у тебя?

Но карп не срывался, он был уже изрядно вымотан, и я вырывал у него метр за метром, хорошо понимая, что бородатому завистнику больше всего сейчас хотелось бы, чтобы карп сорвался, но для меня это было делом чести, и проклятый узелок по-прежнему ещё находился в воде. Я подтягивал на себя леску, как вдруг карп снова выпрыгнул, теперь уже совсем близко, и мы успели разглядеть его мощное тело.

– Ё-ё-ё-ё! – застонал Артур горестно, а Аня за моей спиной вскрикнула.

Но мои руки работали уверенно, точно это был сотый по счёту, а не первый в жизни мой карп, вот наконец и узелок – теперь всё, теперь всё, теперь можно отдохнуть и показать им обоим – как ловить рыбу!

– Закурить дай! – небрежно обратился я к Артуру.

– Ты чё? – вылупился он на меня. – Ты его вытащи сначала!

– Сходи, сходи, принеси мне сигарку! Нам с рыбкой перекур надо сделать.

Артур исчез в тумане, охая и вздыхая, а я в это время обернулся к Ане и встретился с ней глазами. Они выражали испуг, нетерпение, интерес и уже по крайней мере не смотрели на меня как на пустое место.

Я закурил от услужливо поднесённой мне спички и, выпуская кольцами дым, присел, стряхнув пепел.

– Серёга! Что ты тянешь?

– Да теперь уже не уйдёт, – отозвался я с ленцой и стал снова подтягивать леску, но она не шла. Я потянул сильнее, леска сидела мёртво и давала слабинку, стоило её отпустить. Камни... Пока я пижонил, карп запутал леску в подводных камнях, и это конец, и ему, и мне. Я представил, что сейчас выдаст Артур, как я буду выглядеть в Аниных глазах, и не решался во всеуслышание объявить, что случилось.

– Не идёт? – спросил Артур, и в глазах его вспыхнула надежда.

– Что ты встал тут? Что ты пялишься на меня, как баба? Лезь в воду живо! Ну! – заорал я в спасительной догадке.

– Зачем?

– Идиот! – сказал я с наслаждением. – Будешь леску отцеплять.

Артур плюхнулся в воду, нырнул, нащупал жилку рукой, и через мгновение она снова натянулась, карп сделал последнюю свечку, а я перед самой физиономией ночного купальщика, поддерживающего рукой трусы, выкинул добычу на берег.

На песке лежал длинный, почти в метр, зеркальный карп, упитанный, склизкий, с тёмной чешуёй и могучим хребтом, с растопыренными жабрами, и вздрагивал, собираясь взмахнуть хвостом. Я живо достал нож и под испуганный Анечкин вскрик всадил его карпу в голову.

– Хорош, хорош, – растерянно бормотал мокрый, покрытый пупырышками студиозус, и на его лице было написано такое же безнадёжно горестное выражение, как все эти дни на моём.

Только теперь я почувствовал, что устал. Наш поединок с карпом длился минут двадцать, не меньше, уже совсем рассвело, появилась долгожданная рябь на поверхности водоёма, и Артур засуетился вокруг закидушек, ожидая поклёвки.

На Аню он просто не глядел, пробовал поминутно леску, спрашивал, что там насажено, и в сомнении качал головой.

– Артур, я хочу домой, – сказала Аня.

Он поглядел на неё всё теми же безумными глазами, будто только сейчас увидел, и в отчаянии от её бестолковости воскликнул:

– Малыш, сейчас, когда уже рассвело, но ещё не взошло солнце, будет брать самая крупная рыба.

Так было написано в его любимой книжке, но я-то знал, что мой карп распугал всю рыбу в округе и ничего он не поймает.

– Артур, я хочу спать, – капризно повторила Аня.

Теперь он даже не обернулся, ему почудилось, что колокольчик слегка тронулся, Артур схватил рукою леску и замер, готовый подсечь.

– Артур, скоро проснётся бабушка. Мы должны успеть вернуться!

– Давай я тебя провожу, – сказал я Ане.

Она скользнула по моему лицу ленивым взглядом, сощурилась, но я выдержал этот взгляд – лежащий на песке карп придал мне сил.

– Артур, мы уходим! – сказала Аня, топнув ножкой.

– Ага, ага, – закивал он, хлопая на голой спине комаров.

Я засунул карпа в холщовый мешок, и мы пошли домой. Я шёл впереди, гордый собой, недоступный, как кавалер Золотой Звезды, попыхивая на ходу папироской и время от времени перекладывая мешок с одного плеча на другое. А Анечка дулась – она дулась на росу, вымочившую её кроссовки и шерстяные носки, на комаров, на Артура, на карпа, на меня, она ждала, что снова начну лебезить, – но я теперь сам себя не узнавал, этакое плотного мужичка в посконной рубахе с пушком на верхней губе.

Когда мы подошли к дому, играли гимн, на террасе в утреннем чепце восседала Ксения Фёдоровна и пила кофий.

Увидев нас, она направилась к Ане, сверкая рассерженными глазами, но я выступил вперёд, протягивая старушке мешок.

– Ксень Фёдна, подарочек вот вам, – сказал я, как умел, обаятельно.

– Аня!

– Что Аня? – устало произнесла моя изменница.

– Где ты была?

– Так, Ксень Фёдна, – снова вмешался я, – вы думаете, легко такое животное вытащить? Вы бы видели, как наша Аня работала!

А карп в утреннем розоватом освещении был превосходен, недаром он прозывался зеркальным, и на его боку отражалось моё самоуверенное, бабушкино суровое и Анино трогательное лица.

– Ну ладно, – Ксения Фёдоровна сменила гнев на милость, – если ты была с Серёжей, то я спокойна, – и поворочилась ко мне: – А ты вечером приходи, я его приготовлю.

– Благодарю, – ответил я с достоинством.

В то утро впервые за всё это время я спал нормальным сном здорового подростка, и лишь часа в три дня меня разбудил свист Артура. Мой друг выглядел ещё страшнее, чем ночью, бледный, осунувшийся, с красными слезящимися глазами, он смотрел на меня растерянно и жалко.

– Старик, дашь мне ещё закидушки на одну ночь?

Своих закидушек у него не было: Артур всю жизнь ловил

рыбу поплавочными удочками и говорил, что иначе теряется удовольствие от созерцания игры поплавка на поверхности воды.

– Да бери, – пожал я плечами, стараясь никак не выказать своей радости и вспугнуть Артура.

– Спасибо, Серёга, век не забуду, – проговорил он торопливо и исчез.

А я потянулся и пошёл досыпать, но сон уже не шёл, и я взял дедову электробритву, впервые в жизни прикоснувшись кружочками лезвий к подбородку.

Карп был приготовлен превосходно, ни до, ни после этого дня я не ел ничего подобного. Мы чинно сидели за столом, беседовали на садоводческие темы, о женщинах-революционерках, но вот кончились последние известия, и мы снова остались одни – Аня и я, и больше не мешал нам незванный гость. Но, увы, наших прежних безмятежных ночей было уже не вернуть, и по Аниному беспокойству я чувствовал, что она думает об Артуре; даже отсутствующий, он стоял между нами. Мне бы сейчас встать, подойти к ней, обнять: ну что, малыш?

Но какой она мне малыш... Я встал и сказал:

– Ну пока?

– Иди, Серёжа, – и в её голосе прозвучала благодарность.

И мне вдруг стало так за неё обидно, что впору было кинуться на карьер и приволоочь оттуда этого дурня. Ну куда

там!

Я вышел из дома и побрёл, не разбирая дороги, и теперь мне было не больно, как прежде, а как-то тяжело, однако эта тяжесть казалась посильной, точно я сам добровольно её на себя взвалил.

Я почувствовал раньше, чем увидел или услышал, догадался, что из темноты на меня снова бежит Найда, выдернул из забора штакетину и шагнул навстречу овчарке.

– Пошла отсюда!

Она тихо зарычала и стала отступать, точно выжидала удобный момент для броска, но я сделал упреждающее движение, и она так же бесшумно исчезла в ночи, как и появилась.

А я дошёл до своей калитки, бросил штакетину и сел на лавку. Закурил. Вот всё и кончилось.

Два следующих дня были пасмурными, с несильным юго-западным ветром, благоприятствующим клёву. Но Артур не приходил, и, значит, карпом у него не пахло. Он пропадал на карьере с утра до ночи, облизывал пересохшие губы, тёр тыльной стороной ладони глаза и иногда заскакивал домой перекусить. А я помогал деду чинить сарай, и на душе у меня было пустынно и тихо.

Но на третий день открылась калитка, и в сад вошла Аня. Боже мой, что с ней случилось! Она выглядела хуже своего возлюбленного.

– Серёж, пойдём рыбу ловить.

– Так ведь клёва не будет, Аня.

– Бабушка просила ещё ей карпа поймать.

– Ну пойдём, – сказал я обречённо.

По счастью, это была последняя ночь того дачного лета, и только однажды мне пришлось увидеть искажённое злобой лицо студента, решившего, что я непонятно почему хочу ему отомстить и привёл для этого на рыбалку бабу, которая полночи проревела в двадцати шагах от костра и так и не дала ему вытащить карпа.

На рассвете начался дождь, и мы пошли домой. Нашу глинистую дорогу размыло, и так мы и шли, спотыкаясь и падая: впереди налегке яростный Артур, за ним с закидушками шёл я, а позади плелась Анечка и продолжала, не стесняясь, в голос всхлипывать, то ли потому, что хотела обратить на себя внимание, то ли ей уже было всё равно. Но мы шли, не оборачиваясь, и, дойдя до улицы Крупской, расстались, чтобы уже никогда не встретиться.

Дмитрий Воденников.
Третья веранда



Мне она снилась до двадцати пяти, эта дача. Несколько раз в год. Я, прерывая сон или выскальзывая из него, всегда просыпался в слезах. Такой потерянный рай, вишнёвый сад, чеховская печаль.

А потом как отрезало. Сниться она мне перестала.

А вот моей сестре нет.

Написала однажды: “Снилась дача в Щёлково. На месте сгоревшего дома, в котором мы играли, сделали совершенно неземной красоты веранду, белоснежную, всё белое, и пол, и потолок. Столы и кресла белые. И ветер треплет лёгкие белые занавески. А мы с тобой всё проверяли всякие-разные буфеты в доме, находили какие-то предположительно дорогие сервизы (типа кузнецовского фарфора, хотя не факт, никак не получалось разглядеть клеймо) и прикидывали, стоит ли эти сервизы с дачи вывозить, возможно ли будет их продать”.

Тот участок был большим, “генеральским”, нам не по чину: генералами мы не были. Однако неродной дедушка, за которого моя бабушка, профессор Александра Васильевна, где-то в пятьдесят повторно вышла замуж (мне кажется, дача и личная машина подложного дедушки сыграли не последнюю роль, но какая же сила была в этой женщине и как её, получается, любили, если второй раз опять предложили замуж), эту дачу неродной дедушка когда-то себе купил.

И стоял в окруженье деревьев на участке большой двух-

этажный, слегка удивлённый бревенчатый дом, плюс ещё пепелище от прежнего (на чёрных обугленных брёвнах его нам ловили встревоженных ящериц, чтобы потом затолкать их в прозрачные банки: мы же с сестрой этих ящериц уважали и поэтому сильно боялись); сад, из которого я особенно помню грушовицу, на которой висели яблоки с запахом груш, яблоки я не любил, а вот груши вполне; ещё большой, слегка одичавший цветник; маленький лесок у парадного забора, потом – через цветник – большой лесок и аллея (я потом не воспринимал дачи с шестью сотками, и с двенадцатью тоже не воспринимал: наш участок, хотя какой он наш, дедушкин, подложно-дедушкин, был реально огромным). А за большим леском – заросший по пояс огород, там картошка и лопухи, иван-чай и малина. И потом уже глухой высоченный задний забор, за которым простирался то ли настоящий лес, то ли сразу начиналось поле – увидеть ничего через бастионный забор было уже невозможно.

И такая была сила у этого места, такое пророчество будущей жизни, что ещё лет двадцать с моих тех шести лет бродил и бредил призрак двухэтажной дачи, а за ним, прихрамывая, ковылял на чёрных ногах призрак сгоревшего дома, маялись они в нашей памяти, иногда прорываясь во снах.

... Когда псевдодедушка привозил нас на своей “Волге” из Сокольников в Щёлково, а потом по просёлочным дорогам в этот слегка удивлённый дом, нас всегда приходила поприветствовать ничейная собака Белка.

Она была, как понятно, грязно-белая (первый раз, увидев её у террасы, я подумал, что к нам зашёл поросёнок), и кормилась она самоуверенным подаянием, но нам с сестрой, разумеется, казалось, что она нас любила. Хотя, возможно, она любила только сахар, который мы с Юлей ей скармливали.

Хотя...

Когда в конце лета нас увозили, Белка выходила нас провожать на дорогу и грустно лежала, неотвратно уменьшающаяся в заднем стекле машины. Может, действительно любила?

У моего папы было потом такое стихотворение. Когда он узнал про её дальнейшую, беличью, судьбу.

Дачные стихи об убитой собаке

Калиткой вспенив поверхность лужи,
иду к соседям с визитом дружбы.
Соседка плачет о смерти мужа:
“Налог за дачу содрали – ужас!
Всё вспоминаю в последний миг речь,
уж вам не знать ли, Борис Димитрич.
Что, подходящей всё нет невесты?
Ведь вашей старшей всего лишь десять”.
А дальше лента событий мелких:
“Зимою этой убили Белку”.
И вмиг готова мораль простая:

“Не шла бы в город, была б живая”.
Иду к платформе, народом полной,
стою затёртый в вагоне потном,
вагон заносит на пьяных стрелках,
стучат колёса: “Убили Белку”.
Стучат колёса, что жизнь копейка,
собачья вовсе – убили Белку.
Печалью губы сломать не в силах,
к потерям глупым душа остыла.
В Москву приехав, перед метро я
расстался с Белкой, уйдя в другое,
неблагозвучным стихом оплакал.
Не смог я лучше. Прости, собака.

Борис Дмитриевич Воденников

...Треплются никогда не существовавшие у нас на даче
белые лёгкие занавески на кинематографическом ветру, вы-
ходит навстречу нетленная Белка, летят лёгкие облака.

Но самое главное, что на парадной веранде (была ещё тём-
ная, где бочки с засоленными огурцами и где все мылись раз
в неделю) были окна, сплошь занимающие три стены, с та-
кими диагональными реечками, каких и у Бориса Пастерна-
ка в Переделкине не было. У него на веранде были цельные
стёкла.

А у нас реечки – были.

“Посмотри на клеёнку, – говорил мне подложный дедуш-
ка в окружении этих реек. Он, кстати, был очень обстоятель-
ный; даже, на мой детский взгляд, занудный. – Видишь, на

клеёнке нарисованы разные продукты?”

Мы сидели на парадной веранде с короткими, на верёвочках, в пол-окна занавесками, никакими не белыми и не развевающимися, и на длинном деревянном столе действительно была постелена светло-жёлтая чехословацкая клеёнка, где в ромбах чего только не было: и впечатанная специальным методом надрезанная любительская колбаса (а один кусок призывно отвалился), и масло в маслёнке, и буханка хлеба, и яблоко с грушей.

“Какого продукта в рисунках на этой клеёнке нет?”

Господи боже ты мой. Почему каждый обед я должен на этот вопрос отвечать? Я мучился, но псевдодедушка был неумолим.

И каждый раз надо было выискать новый продукт. Арбуз? Да вот же он. Персики нет? Молодец, персики нет.

Мне хотелось, чтоб меня оставили в покое.

Я как раз до обеда придумал себе новую игру: что я советский пионер, но царского рода. И теперь мне надо погибнуть на площади приговорённым фашистами. Но именно на площади. Где полно людей. И все мне сочувствуют. Мне даже фашисты сочувствуют. Такова сила моего духа. А тут какие-то персики и арбузы.

Эта дача больше не снится мне. Но недавно она проскользнула в стихотворную щель.

* * *

Едем в Ангельск.

Он стоит на реке.

Налево пойдёшь – частные домики, через поездные пути – разноцветные пятиэтажки.

Наш дом значительно дальше, надо выехать за пределы этого городишки,

проехать мимо кладбища, потом свернуть влево, на просёлочную дорогу. Дорога покрыта щебнем.

Там тебя встретит покойная ничейная собака Белка, она завилает хвостом, обрадуется (так она радуется всем знакомым, не обольщайся).

Там и стоит теперь навсегда мой, хозяйский, на вечную весну и на бесконечное лето

унаследованный по завещанию хитроплетённый стульчик;

над ним наливаются яблоки,

вечной осенью падают вниз:

бум, стучает четвёртое яблоко – прямо мне по макушке:

“Эврика, – говорю, – я знаю, что делать с этими яблоками. Варенье”.

Ты уже старый, говорю я ангелу, у тебя сушится кожа, истончается, становится как молодой папирус.

Возьми молоко (вон оно, там, стоит в непонятной миске, в прохладном месте, уже налилось соком, подкисло, потом будет сметана),

сорви цветаевскую ягоду, только с грядки,
мы же культурные люди, и ягода у нас тоже культурна, раз-
бултыкай клубнику в сметане – и сделай себе маску.

Освежающую.

Хотя что тебя может уже освежить?

Ангел правда старый. Я его хороню
через несколько лет в жестяной конфетной коробке
(он с каждым годом всё мельчал, мельчал, уменьшался
и стал совсем мотыльком).

А потом он похоронит меня.

Я до сих пор не могу понять: что там у нас с ростом?
То он больше меня, то я больше его.

(Какая-то ерунда. Кажется, с ростом я попал в молоко.)
А иногда мне кажется, что мы с ним ещё до сих пор едем,
меняем поезда, самолёты, вызываем такси и едем.

Зачем мы едем, не знаю.

Во тьме ли мы едем, не знаю.

В свет ли мы едем, не знаю.

Вдвоём ли мы едем, не знаю.

Вообще ли мы едем, не знаю.

Но теперь мы едем домой.

...Наверное, мы никогда не приедем домой. Он затерялся сперва где-то в прошлом, потом во снах. Только иногда я чувствую свой нынешний дом как неожиданный укол счастья. Когда возвращаюсь с дальней дороги. И когда в переменном-облачный день входит косое солнце с утра, а оно бывает только в первой половине: у меня окна глядят на восток. И этот раскрашенный неправильным кривым прямоугольником пол. Всего лишь до середины комнаты – потому что дальняя часть паркета никогда не чувствовала на своей спине (животе?) солнца. И этот недолгий свет на рассвете на противоположной стене.

Я пишу этот текст, но почти комический тут герой, Владимир Николаевич, это так звали моего подложного дедушку, почему-то не хочет оставаться комичным и опять через моего отца (папа пишет мне письмо на почту, и я вижу, что он что-то новое мне прислал во всплывающем верхнем окне на стационарном экране) вдруг возвращается в текст, принципиально всё в нем меняя:

“Мои дети, – пишет папа в давнишнем своём воспоминании, которое он мне сейчас снова прислал, – считали его за-

нудным и, скорее всего, имели на это право, по крайней мере в те минуты, когда худощавый седовласый посторонний де-душка подробно перечислял все многочисленные ингредиенты борща, чтобы оценили они тяжёлую работу их родной прабабки, приготовившей еду. Как появились дети вместе с бабушкой и прабабушкой на даче Владимира Николаевича Александрова – отдельная история, связанная с его неудачной, как оказалось, попыткой склеить совместную жизнь со своей бывшей женой, хотя их брак разметала война более тридцати лет назад.

Об его участии в войне я и хочу написать несколько строк. Мы с ним разговаривали очень немного, и его воспоминания ограничивались фразами, сказанными по ходу наших по большей мере деловых общений, связанных с работами по даче.

Каким образом он оказался на финской войне, я не знаю. О ней было сказано только одно: «Я подумал, что всё закончилось, и приподнял голову. Тут мне и вlepили пулю в ключицу».

Когда началась война с Германией, его жену, мою первую тёщу, мобилизовали как медицинского работника и сразу отправили на фронт. У Владимира была бронь, но, рассудив о двусмысленном положении мужика, жена которого воюет, он отправился в военкомат. Владимир Николаевич хорошо бежал на лыжах и занимался альпинизмом, возможно, это способствовало тому, что он попал в диверсионный отряд, ре-

шающий задачи тактического значения за линией фронта. С улыбкой вспоминал: «Идём на лыжах, а навстречу нам поток солдат с криками: куда, мол, вас несёт. Отвечаем: туда, куда и вам надо бы».

«Как-то раз немцы обнаружили нас на подходе. Мы обедали в лесу, по двое ели из одного котелка. Мозгами моего сотрапезника мне забрызгало всё лицо. Кое-как отбились...»

«Странное ощущение испытывал я в минуты опасности, как будто я смотрю на себя со стороны: вот он бежит, вот падает, вот стреляет. Как-то сказал об этом друзьям, они посмотрели на меня с сожалением и сказали: “Нет, Вовка, мы – это всегда мы”. Больше я об этом не распространялся».

Конец цитаты.

Тут важно сделать одно пояснение: папа мой пишет “мою первую тещу”. Так оно и есть. Мама моя (я помню своей детской памятью только её белую плиссированную юбку, ничего более) тоже приезжала на эту дачу. Потом в двадцать девять она умерла, мне тогда было шесть.

И мне почему-то так важно это папино воспоминание о подложном дедушке. И чужая жизнь встаёт очевидным дымом и не уходит. По крайней мере, не сразу. И это – удивительное: “попытка склеить совместную жизнь со своей бывшей женой, хотя их брак разметала война более тридцати лет назад”. Какие же были люди. Простите, Владимир Николаевич, что я назвал вас выше занудой.

...И как раз в этот момент я вдруг вспоминаю, как именно мне приснилась в последний раз эта дача.

Последние все четыре раза она мне снилась как бы недо-
воплощённая: я иду от калитки по дорожке к главной веран-
де, уже взрослый, мимо небольших клумб (там душистый го-
рошек, ещё какие-то не вспоминаемые во сне цветы, назва-
ние которых я помнил, но вот сейчас забыл), но никогда не
могу дойти до крыльца – ткань сна морщит и рвётся, про-
странство рябит, и вот я уже проснулся.

А в последний раз мне дали дойти до ступенек. Я не вижу
никого – ни Владимира Николаевича, ни прабабушку Тату,
ни бабу Сашу, ни, разумеется, фрагментарную маму с её бе-
лой юбкой, ни папу. Никого нет. Дача и дачный участок пу-
сты. Они только мои.

Тогда я, даже не чая на эти ступеньки взойти (всё равно не
дадут), останавливаюсь, оглядываюсь, как будто в последний
раз, на этот малый лесок, на цветник, на колодец – и вдруг
начинаю петь.

Вся ирония моего действия и ситуации в том, что в реаль-
ности у меня нет ни слуха, ни голоса. Но вдруг неожиданно
в этом пространстве сна звуки выстраиваются в нужной то-
нальности, в нужном порядке, и голос идёт мощно и точно,
как он никогда у меня из горла не шёл.

Возможно, рай – это место, где ты обретаешь голос и слух.
Впрочем, возможно, рай – это то, что ты больше никогда
не увидишь.

Хотя кто его знает... Может, где-нибудь там я опять увижу эти молодые лица (ведь даже баба Саша тогда была моложе меня сегодняшнего), что-то скажу маме (например, что ей очень идёт эта юбка), отвечу всё четко и правильно про обеденную клеёнку, увижу молодого отца.

Потом выйду на парадное крыльцо (надеюсь, все помнят, что были ещё непарадные сени, а стало быть, и непарадные ступеньки), обогну дом и увижу, что вместо пепелища вдруг возникла совершенно неземной красоты веранда, третья, белоснежная, небывалая, никогда не существовавшая, где всё белое-белое: и потолок, и стены, и пол. И даже столы, и кресла, и коврики – тоже белые. И ветер треплет лёгкие белые занавески.

И ты пойдёшь-пойдёшь туда проверять – что там в буфетах? Не спрятались ли там какие-нибудь предположительно дорогие сервизы (типа кузнецовского фарфора, хотя не факт: почему-то никак нельзя разглядеть клейма)?

А когда дойдёшь, вдруг поймёшь, что всё это больше неважно.

Что есть только голос и звук. Бывшие милые лица. Исчезнувшая жизнь. Так ничему нас и не научившая. Летящие занавески. Счастливая пыль. Солнечные неровные пятна.

Ты повернёшься и пойдёшь по тропинке обратно, мимо тёмного дома, светлого сада, зная наверняка, что никогда сюда уже не вернёшься. Да и не надо никуда возвращаться.

И вот тогда-то и выйдет с тобой попрощаться похожая на

поросёнка, ничейная собака Белка.

Майя Кучерская. Заольшье



1

Наголо бритые, так ведь вши. И тот вон со шрамами, а этот хром, сильно вывернута левая ступня. Но так-то – дети и дети. Мальчики. Сидят за партами, смотрят.

Это первая их встреча.

Он пришёл сегодня пораньше, чтобы всё подготовить, достать краски, бумагу, наполнить стаканчики водой, и увидел в окно, как они высыпали во двор из другой половины того же большого деревянного дома, в котором проходили и занятия. Двор был отгорожен от улицы дощатым забором, но ворота стояли раскрытыми, ждали груз? И ни один к воротам даже не приблизился, не попытался выглянуть, узнать, кто там шагает по дороге мимо, все жались поближе к дому, к широкому крыльцу. Они, конечно, гудели, но тоже словно приглушённо, и не играли. Один только поддразнивал сорванной веточкой чёрного местного котёнка, но сам же вскоре соскучился, ветку бросил.

Вот и сейчас они сидели тихо. В белых рубашках, подпоясанные верёвками, кто в опорках, кто бос, хотя ой рано ещё босыми бегать, первая острая травка только пробилась, листья на деревьях едва высунули младенческие носы. Но как будто все здоровы, никто не болен, их тут жалеют – заботятся, лечат и кормят по нынешним временам сытно: суп, каша, компот, случается и хлеб с маслом. Педагоги приеха-

ли из Киева, что эти дети пережили – видели своими глазами. Теперь учат мальчиков всему, не только математике-чтению, но и петь хором, и копать грядки, и рубить дрова, а ещё спорить, быть свободными от предрассудков гражданами молодого советского государства. Называют тут все друга друга “товарищ”.

– Товарищи. Мы будем с вами рисовать. Вы любите рисовать?

Моргают. Кто из вас рисовал раньше? Молчат. Он смотрит им в глаза.

Вот у этого на первой парте – тёмно-карие, зоркие, приглядываются, но словно исподтишка, у соседа в шрамах – каштановые с зелёными точками, полная остановка, спит? У того, что сидит за ними, – серо-голубые, ровное светящееся серебро. У чернобрового рядом с окном на второй парте – сверкают как угли, будто хочется им кричать. И ещё один с такими же красивыми выгнутыми бровями на третьей парте у стены – брат? Только смотрит глуше, тише, будто устал уже до смерти.

И глаза ни у кого не улыбаются, не смеются. Печалью, как пеплом, присыпаны. Что там на дне? Он смотрит и тонет.

У кареглазого – стрельба в ушах, едкий свист пуль. Что-то грохнуло за окном их классной комнаты, он вздрогнул всем телом и едва не вскрикнул.

У каштанового лицо в мелких розовых шрамах – стёкла летели в правую щёку и шею, и он забывал уклоняться, пото-

му что смотрел и оторваться не мог: отца, ловкого и острого на язык пекаря, властного и строгого главу их большой семьи схватили два великана и выдирают ему бороду с проседью.

Серебристого сбрасывают с подножки поезда, бьют по вцепившимся рукам прикладом.

У соседа по парте – его голосистую сестру – как они ссорились по пять раз на дню, как кричали друг на друга ещё сегодня утром! – толкает молодчик в серой шинели, сестра падает на пол, лезвие вспыхивает на солнце, но внезапно новым лезвием – визг, животный, жуткий. С печки на палача кидается Хамам, пружинит на плечи, начинает когтить лицо, целится в глаза, и вот уже вместо лица кровавое месиво. Сестра всегда говорила, что Хамам никакой не кот, а маленький человек, и он смеялся над глупой Розой.

У того, что словно постоянно щурится, – перетаптываются в глазах сапоги. Одни и другие. Грязные, в сухой бледно-рыжей глине, и начищенные, чёрные, воняют дёгтем. Кровать ходит ходуном, поскрипывает, мнутя сапоги, и стонет-скрипит кровать. На кровати мама. Она молчит, только очень громко дышит. Под кроватью сжался в чёрствый калачик он, мамин любимец, Аарончик, и больно царапает плечо доска, из неё торчит боком гвоздь, только если совсем сильно вжаться в пол – нормально, но долго так, конечно, не выдержишь. Внезапно сапоги замирают, разворачиваются. Кончатся вздохи. И серые мамины войлочные тапки – с двумя бусинками ягодками, он любил их трогать пальцем – покор-

но идут за ними.

Неужели в тюрьму? Почему отец уехал вчера, почему братья в другом городе, а он ничего не может и должен лежать тут клубком в пыли? Мама у входа с чем-то возится, одевается? Сапоги торопят её злыми словами. А она, уже от самого порога, вдруг поёт, да так знакомо, так сладко, будто на ладонях качает сердце: “*Shlof, mayn feygele, shlof, mayn kind*”¹. В распахнутую уже на улицу дверь, на улицу поёт. Но он знает – это ему, своему сыночку и птенчику, она поёт колыбельную, которой столько раз баюкала его. И Аарон понимает: сиди тихо, молчи, мой птенчик, а лучше всего поспи. И снова грязные русские слова сухой глиной валяются на пол. Ударяет дверь. Падает тишина. Он лежит в своей пыли и хочет заплакать, но куда-то спрятались слёзы. А потом спит: мама так сказала. И когда просыпается и вылезает наконец на свет – никого на нём нет, на этом свете, только молоко сочится в окна, утро подступает, сырое, белое, всех попрыгал туман, а цветное лоскутное покрывало, сшитое тёткой, он любил разглядывать его – тут горошек, а тут клеточки, – любимое покрывало залито чем-то бурым.

Учитель отворачивается – его мутит, мотает головой: нет, нельзя смотреть им долго в глаза.

¹ Спи, мой птенчик. Спи, моё дитя (*идиши*).

2

Он ставит на стол захваченный из дома высокий кувшин цвета охры, рядом белую пузатую чашку. Вот возьмите краски, и бумагу директор нам выдал, и кисти – на всех должно хватить!

Чашка белая, и кувшин поэтому – видите? Тоже с белым облачком вот тут. Так и попробуйте нарисовать.

И они сжимают кисточки, делают, как он говорит, им так хочется красиво нарисовать, но скучают одинаковые криво-ватые кувшины на рисунках, и кто-то рядом растит зелёную траву, а кто-то цепь облачков вокруг, а у того, что с бровями и углями, – на боку кувшина пасётся белая коза. Тесно им с кувшином и чашкой.

На следующий урок он приносит ядовито-зелёный чайник с широким носиком – горластый, звонкий, где он только его раздобыл? За чайником приспособливает алый лоскут, это фон, чтобы была картинка.

Вот их двое – красный, зелёный. Слушайте теперь внимательно, какой цвет громче? Кто кого перекричит? Или никто, только зря охрипнут? Вот это и нарисуйте.

И они замирают и работают, набрасываются на рисование как на еду, изголодались по обычным детским делам, рисунки полыхают зеленью, а потом тянут руки, галдят: товарищ Шагал! Посмотрите, у меня получилось?

И даже самый скромный, сероглазый, шепчет: רִיכְטִיק
געצײגן האבאײך עס²?

О, все вы, дети, рисуете совершенно правильно. Мальчики были из еврейских, разорённых погромами семей. С небес Киевщины, Черниговщины, Волынщины – куда только не затекали они до смерти перепуганным дождиком! Их выпаривали, вынимали – из канализационных люков, подвалов, из-под мостов, снимали с поездов, выковыривали из-под вокзальных лавок, – пока не собрали сюда, в детскую колонию “Третий Интернационал”, в Малаховку. Родителей в живых не было ни у кого.

Он теперь им родитель. Или дядя? Мальчики им любят, восхищаются. Товарищ Моше ни на кого не похож. На ногах у него сандалии на высокой подошве из пробки: купил возле площади Республики! Так он им сказал. На голове – шляпа. Из-под шляпы рвутся во все концы кудрявые волосы. И лицо у него каждый раз разное – то узкое, лисье, то широкое, как у медведя.

Однажды явился в изумрудной рубашке, и засияла в классе прозрачная майская роца, в другой раз пришёл в оранжевой шёлковой, и в пасмурный день загорелось солнце. Откуда он только берёт такое? Из Парижа! Есть такой город, Натан точно знает, в их городке над лавкой с тканями, кружевами, платьями плясала синяя вывеска в завитушках: “Парижские моды”.

² *Hob ikh es rikhtik getsoygn?* – Я правильно нарисовал? (идиши)

Чайники получились голосистые, один перекрикивал другой, все тянули упрямые носики, лоскут проиграл, у многих был каким-то розовым, теперь зелёную краску придётся новую покупать, до капельки вышла. Красная осталась на дне.

Провожают мальчики его нехотя, ждут не дождутся, когда снова запоёт в классе цветной праздник и мокрая радуга мостиком перекинется через форточку.

Но дни бегут. И вот он снова шагает по коридору. Все ёрзают, тянут шеи, уже совсем не боятся его, шумят: что там у него в руках? Ветка жасмина? Опять кувшин? Но в руках у него ничего нет.

Сегодня, товарищи, у нас свободная тема. Нарисуйте, что вам хочется. О чём поёт ваша душа.

Где же наша душа, ребе? И что же она поёт?

Какой я тебе ребе, Илюша. У меня вон даже бороды нет.

Бороды нет, но глаза у ребе были как у тебя. И смотрел он так же. А один раз погладил меня по голове. Это когда наша маленькая Лия скончалась.

И тянется рука учителя к Илюшиной тёплой стриженной голове.

По детским рисункам летят самолёты, на крыльях – огромные красные звёзды. Едет трактор по полю. Красноармейцы маршируют. И лошадь стоит рядом с солдатом на зелёной траве, худая, в тоске. Вот она хорошо получилась, Яша, и чем-то напоминает тебя. Никто не радуется на этих рисунках. Всё тут всерьёз.

Но послушайте, мир – это чудо. Помните, что мы увидели в прошлый раз за окном? Верно, радугу, дети. Пойдём гулять!

Товарищ Моше скручивает в рулон бумагу, берёт подмышку, подхватывает мешочек с углём и ведёт их в парк, в Плоховое, произносит новое слово: “пленэр”. Они шагают вдоль штакетника, Давид ладонью ведёт по палочкам, осторожно, не посади занозу! Приближаются к узорчатому входу: аллея, большая круглая клумба – пионы, нарциссы, первые розочки. Берёзы. Старушка бредёт с белой собачкой на поводке. Пожилой человек тихо ведёт под руку жену в тёмном длинном платье.

Товарищ Моше тянет учеников в сторону, в глубину, где уже ни аллей, ни старичков, только заросли и тропинки: кто найдёт цветок, тот и молодец!

Вот, учитель, ландыш спрятался. Такие росли у моей мамы. Мама говорила, так пахнет в эдемском саду. И это верно – учитель рад.

А вот одуванчик уже почти отцвёл, это в счёт?

В счёт, конечно, он постарел, но пока живой, просто поседела его жёлтые волосы. И стал он воздушный. Подожди, Борух, не дуй. Сначала нарисуй его. А потом можно подую? Потом да.

Аарон, раз ты обнаружил ландыш, он твой.

Рисуйте, рисуйте что видите, и посмотрите, сколько радости тут, в том, что Бог сотворил и подарил нам.

Товарищ Брицман говорил на уроке, что Бога нет! Это он шутил, дети, боялся красноармейцев.

Изя, что ты хохочешь? Бабочку поймал? Щекотно? Отпусти, пусть летит на волю.

Да, бабочку тоже можно. И лютики – солнечные точки!

Посмотрите, что я нашёл, товарищ Моше, – Давид тянет его в сторону, за деревья – там нежная фиалка растёт в тенишке, под елью, и словно живая смотрит, как же тебе повезло, конечно, нарисуй.

Пенёк? Хорошо, тогда не буду на него садиться.

И они разбредались, рассаживались на траве и рисовали на клочках, захваченных им из школы, без красок, углём, что видели, что нашли.

Товарищ Моше! А я дятла нарисовал, в ермолке, как у моего деда.

Какой красивый дятел, Натан, так это он стучит сейчас, да?

Да, только Давид его спугнул. У!

Как вы хорошо рисуете, когда пишете с природы, и смотрите – рисунки повеселели. Как я этому рад, дети. И даже краски вам не нужны, они проступают сквозь бумагу, видите?

Улыбка порхает по его губам, и с каждым рисунком он разговаривает. Вот как ты обветшал, дедушка-одуванчик. А тебя, девочка, опять тянет на сладкое, и каждый цветочек приглашает тебя на пир. А ты помнишь, что и ты был когда-то деревом? Теперь ты нам табуретка.

Мальчишки смеются. Птицы захлёбываются. Дятел стучит.
До среды, товарищ Моше! Вот бы снова пойти гулять.

Но в среду с раннего утра сыплет дождь, капли текут по стеклу. Птицы и котики попрятались.

Учитель сегодня в белой рубашке, цветном жилете, вымок, пока дошёл, но не грустит – смотрит на них и опять им рад. Он видит: вот теперь они готовы – и просит.

Нарисуйте-ка ваше самое большое счастье. Время, место вашего счастья. Людей, с которыми вам было хорошо.

Как это – время счастья, товарищ Моше? Ой, дети! Когда весело вам было так, что смеяться хотелось или плакать – невозможно понять!

А у тебя такое случилось, товарищ Моше?

У меня? Да, Иосиф. Случалось.

Потому что восемь лет назад я встретил Беллу. Белла – самая красивая женщина на земле, вы же видели её. И они кивали – да, мы знаем! Правда красивая? О, очень! Как моя мама, – шептали ученики. – Как сестра.

Белла с Идочкой жили тут же, в Малаховке, в выделенной им мансарде на даче Соколова, с кроватью без матраса. Зато света в доме было много, и у окна стоял его мольберт.

После свадьбы, рассказывал он дальше, богатой и шумной, на которой мне было страшно съесть виноградинку со стола, мы отправились в деревню, на дачу. Раньше Белла отдыхала там с родителями, а теперь вот поехала со мной. Это

была усадьба, почти как наша Малаховка. И дети кивали: поняли, это как здесь!

Утром мы завтракали, и я обязательно пил молоко. Рядом с нашей дачей стояли солдаты, они держали стадо коров и продавали нам молоко. Белла не любит молоко, так что я пил за двоих. Днём мы гуляли по лесу. После обеда я рисовал.

Вечером там делалось совсем тихо. Свинья хрюкала в хлеву – и каждое её чавканье было слышно. Небо горело сиреневым. Над соснами выкатывался месяц, красил мёдом синий безмолвный лес. Месяц ведь у нас продолжался медовый. Мы выходили на крыльцо, смотрели на золотой серпик, кольцо света вокруг него, я глядел на мою Беллу, а на ночь снова глотал чашку парного молока. С тех пор, когда мне делается грустно, когда кто-то меня обидит, я вспоминаю ту дачу, сиреневую тишину, хрюканье, наше крыльцо и те тропинки в лесу, по которым мы вместе гуляли.

Где теперь та дача, учитель?

Там же, только мы не ездим туда теперь. Называлось это место необычно: Заольшьё. И у вас у всех, у каждого! тоже есть своя дача и своё Заольшьё. Вспомните и нарисуйте её. Свой город, своё счастье, чтобы и вам было куда спрятаться в го ре. Вы поняли меня, дети?

Поняли, товарищ Моше, мы поняли всё!

Рисуйте! Но рисуйте душой.

А всё-таки где живёт наша душа, учитель?

Вот тут, Илюша, – и он показывал в середину груди, – при-

мерно здесь. Она летучая, и точно не покажешь. Наша душа всё видит и знает даже больше, чем мы. Душа умеет общаться с теми, кого давно уже нет. Кто даже умер. Для неё не существует преград, и она не ведаёт смерти. Но что-то я много сегодня болтаю. Вот вам бумага. Вот краски! Рисуйте свою дачу скорей.

И они рисуют. Он ходит между рядами, иногда поправляет, но в основном нет, не мешает – они сами понимают и чувствуют всё.

Что будет с ними? Куда занесёт их судьба? Кто-нибудь уцелеет? И что будет с ним самим, с Беллой, Идочкой, его любимыми сёстрами?

Но вот и рисунки. Нет-нет, сначала подпишите. Подпишите свои имена!

Синяя корова (кончился коричневый, и жёлтый тоже, Давид всё извёл!) склонилась над изгородью, жуёт траву, розовое вымя до земли, рядом телёнок, тянется к вымени, да что-то всё никак. За ними маленький белый замок? Нет, церквушка! с голубыми куполами, стоит на горе. *Аарон Л.*

Лохматый мальчик, волосы торчком, летит по облакам к дедушке, обнимает скрипку, дедушка, смотри, что ты дома забыл? *Борух З.*

Светло-оранжевое небо, овальное зеркало, а по нему катаются человечки на ножках-палочках, к палочкам приделаны дощечки – коньки! В овале отражается небо. *Шимон Н.*

Бабочка на весь лист – с шоколадными крыльями, голу-

быми кружками-озёрами в уголках, с лимонными завитушками по краям. *Изя Л.*

Две белые козочки встретились у низких домов, никак не надвоятся друг на друга, мимо бежит петух с зелёным хвостом, безумными глазами, торопится, хрипит, сколько же у него сегодня дел. *Илья П.*

Хлеб, ярко-жёлтые круглые солнышки свежеиспечённых хлебов на тёмном столе. Огонь печи пылает рядом. *Давид, сын Лейба-пекаря.*

Белобородый носатый человек в чёрной шляпе идёт с толстой книгой под мышкой, из книги торчит закладка – ромашка, вслед ему смотрит лошадь. *Иосиф Л.*

А вот скопище красок – зелёное, изумрудное, коричневое кувыркается, и катятся красные клубки, что же это, *Абрам*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.